САМАЯ СТРАШНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



ТОМАС НИДЕРВАЛЬД

Замок на горе

КНИГА ГОСТЕЙ

Роман-сказка в четырёх частях

МОУНТ ГАРДЕН · 1893–1894

16+

Томас Нидервальд

Замок на горе. Книга гостей

«Автор»
2026

Нидервальд Т.

Замок на горе. Книга гостей / Т. Нидервальд — «Автор», 2026

Каждые двадцать семь лет в сытом городе Моунт Гарден люди уходят из дома — каждый со своим стулом. Банк процветает, фабрики растут, город богатеет. Клерк Фрэнк Салмон умеет считать каждый цент — и однажды видит книгу, где записано, сколько стоит каждый пропавший. А когда Фрэнк не возвращается, его беременная жена Хелен остаётся одна против целого города — и против того, кто ждёт десерта на вершине горы.

© Нидервальд Т., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Книга гостей 5
Часть первая. Стул в прихожей 7
Глава первая. Город у горы 8
Глава вторая. Пропажи 12
Глава третья. Мальчик над прачечной 16
Глава четвёртая. Хелен 19
Глава пятая. Сны и конторка 23
Глава шестая. Дверь для великана 27
Глава седьмая. Банка с гвоздями 31
Глава восьмая. Башня из стульев 35
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Томас Нидервальд
Замок на горе. Книга гостей

Пролог. Книга гостей

Зимой тысяча восемьсот двадцать первого года, когда никакого Моунт Гардена ещё не было, а была только гора, долина под ней и тридцать один человек в трёх фургонах, снег выпал в октябре и больше не таял.

Они пришли с востока за дешёвой землёй. Землю им продали в конторе за тысячу миль отсюда, по доллару за акр, с картой, на которой река была нарисована синими чернилами, а лес — зелёными. Река оказалась на месте. Лес тоже. Не было на карте только горы — и того, что стояло на её вершине.

Иезекия Оук, плотник и староста, первым увидел шпили. Он стоял у фургона, держа в руке топор, и смотрел вверх, а снег садился ему на ресницы. Над лесом, над скалами, над белым молчанием долины торчали чёрные иглы — тонкие, слишком прямые для деревьев, слишком высокие для скал.

— Церковь, — сказал его сын Иеремия. Ему было восемнадцать, и он верил, что всё высокое построено для Бога.

— Нет, — сказал Иезекия. — Церкви так не стоят. Церкви стоят там, где люди. А там людей нет.

Он сказал это и сразу пожалел. Потому что в ту же ночь, впервые за месяц, в окнах на вершине загорелся свет.

К декабрю они съели лошадей. К Рождеству — кожаную упряжь, сваренную в снеговой воде. Двое детей Морганов умерли в один день, и их некуда было похоронить: земля промёрзла на три фута, и лопата отскакивала от неё, как от камня. Тела положили в пустой фургон и накрыли холстом. Ночью кто-то ходил вокруг этого фургона. Утром на снегу остались следы — не волчьи и не медвежьи. Следы босых ног, каждый длиной в полтора локтя.

Тогда Иезекия Оук собрал мужчин.

Их было девятеро. Они сидели вокруг последнего костра, на котором кипела кора, и молчали, потому что говорить было не о чем. Слова тоже стоили сил, а силы стоили еды, а еды не было.

— Там, наверху, — сказал наконец Иезекия, — каждую ночь горит свет. Кто жжёт свет, тот жжёт дрова. Кто жжёт дрова, у того есть тепло. А у кого есть тепло — у того есть и хлеб.

— А у кого следы в полтора локтя, — сказал старый Морган, у которого умерли дети, — у того есть зубы.

Никто ему не ответил. Голод — плохой советчик, но очень убедительный.

Наутро шестеро пошли в гору. Иезекия взял с собой сына, топор и — сам не зная зачем — табурет, на котором сидел у костра. Позже, рассказывая эту историю внуку, он говорил, что табурет нужен был, чтобы встать на него и заглянуть в окно. Но это была неправда, и он это знал. Табурет он взял потому, что ночью ему приснилось: он стоит у огромной двери, и голос — тёплый, как печь, сладкий, как сироп, — говорит ему: «Приходи. Только приноси свой стул. У нас так принято».

Терновник на склоне расступился перед ними, как вода перед лодкой.

Что было за дверью, Иезекия Оук никогда не рассказывал. Ни жене, ни сыну, который тоже это видел, но которому велено было забыть — и который, будучи хорошим сыном, забыл почти всё. Почти. Иеремия Оук до конца своей очень долгой жизни не мог смотреть на виноград.

Известно только вот что.

Ушли шестеро. Вернулись двое — отец и сын Оуки. Вернулись к вечеру, в метель, и тащили за собой сани. На санях лежали мешки: мука, солонина, сушёные яблоки, бочонок патоки и сахарная голова, завёрнутая в синюю бумагу. Еды было столько, что двадцать пять оставшихся в долине дотянули до весны и никто больше не умер.

О четверых, не вернувшихся с горы, Иезекия сказал коротко:

— Остались. Им там понравилось.

Вдове Моргана он отдал её долю муки и ещё бочонок патоки сверху. Вдова взяла. В ту зиму люди брали всё, что им давали, и не спрашивали, откуда.

А весной, когда стаял снег и выяснилось, что земля в долине жирная, как масло, а река полна рыбы, Иезекия Оук завёл книгу.

Это был обыкновенный конторский гроссбух в переплёте из телячьей кожи, купленный у проезжего торговца за три доллара. На первой странице Иезекия вывел крупно, с нажимом, как пишут люди, не привыкшие писать: *«Книга гостей»*. А ниже, в столбик, разлинованный по линейке:

Декабрь 1821. Джошуа Морган. Стул: табурет сосновый. Цена: зима пережита.

Декабрь 1821. Элиас Пратт. Стул: скамья складная. Цена: зима пережита.

Декабрь 1821. Сэмюэл Пратт. Стул: ящик из-под гвоздей. Цена: зима пережита.

Декабрь 1821. Томас Уэлд. Стул: кресло плетёное. Цена: зима пережита.

Под этим, через пустую строку, стояло ещё одно — уже другими, бледными чернилами, будто записанное позже и с неохотой:

Договор. Мы даём гостей, они дают хлеб. Через каждые двадцать семь лет — сезон. Стул — приглашение. Без стула не звать. Детей не звать, пока не попросят.

Иеремия Оук прочитал это, когда ему было тридцать три и отец лежал при смерти. Старик позвал его к кровати, вложил в руку ключ от сейфа и сказал:

— Город вырос, сынок. Банк, мельница, лесопилка. Видишь, как всё растёт? Это не мы растим. Нам дают. А за то, что дают, надо платить. Книга теперь твоя. Веди её аккуратно. Они не любят, когда в счетах беспорядок.

— Кто — они? — спросил Иеремия, хотя знал. Он всегда знал. Он просто очень хорошо забыл.

Старик Иезекия улыбнулся — впервые за много лет — и сказал странную вещь:

— Хозяева. Они славные, если их кормить.

И умер. А через три года, зимой тысяча восемьсот тридцать девятого, — в первый сезон по договору, — в Моунт Гардене пропал первый человек со своим стулом.

Иеремия Оук открыл гроссбух, обмакнул перо и записал его имя. Почерк у него был красивый, конторский, с наклоном вправо. Рука не дрожала.

Он вёл эту книгу ещё пятьдесят четыре года.

В тысяча восемьсот девяносто третьем году, в конце ноября, в ней появилась запись, сделанная тем же красивым почерком:

Ноябрь 29, 1893. Френк Фицджеральд Салмон, 27 лет, клерк. Стул: прихожий, гнутый, венский, светлый. Цена: —

Графа «цена» осталась пустой. Мистер Оук собирался заполнить её позже, когда всё будет кончено. Он был аккуратным человеком и не любил записывать то, чего ещё не получил.

Он ещё не знал, что в этот раз счёт окажется слишком большим.

Часть первая. Стул в прихожей

Кто на гору со стулом пойдёт,

Тот к чужому ужину попадёт.

— песенка, которую пели в Моунт Гардене

Глава первая. Город у горы

В девяносто третьем году Моунт Гарден был городом, который умел считать.

Он считал с утра. В шесть часов, когда фонарщик Клэнси гасил на Торговой улице последний газовый рожок, булочник Хиггинс уже выставлял на прилавок первые сорок батонов по пять центов, и каждый батон был взвешен, а каждый цент — записан. В семь в контору банка «Оук и сыновья» приходили клерки и снимали со счётов чехлы. В восемь гудела фабрика Джетта на Литейной, и восемьсот сорок рабочих — Джетт знал точное число, потому что по субботам сам подписывал ведомость — становились к станкам, чтобы до вечера наштамповать сорок тысяч гвоздей, двенадцать тысяч дверных петель и три тысячи замков. В девять по Торговой проходила первая конка, и кондуктор звенел колокольчиком и собирал по центу с носа, а в конце смены сдавал выручку в кассу компании до последней монеты.

Город пах деньгами. Утром — свежим хлебом и каменным углём, днём — лошадьми, типографской краской и горячим машинным маслом, а вечером — жареными каштанами, которые продавал на углу итальянец Сальваторе по два цента за кулёк. Это был хороший, сытый, деловой запах. От него у приезжих поднималось настроение и разгорался аппетит.

Приезжих в Моунт Гардене любили. За последние двадцать семь лет население выросло втрое. Открылись два банка, четыре гостиницы, оперный театр с плюшевыми креслами на шестьсот мест, три церкви, городская библиотека с мраморной лестницей и чугунным фонтаном у входа. Железнодорожная компания провела ветку, и теперь до столицы штата можно было доехать за пять часов. Газеты соседних городов писали о Моунт Гардене с завистью и называли его «долиной удачи».

Если бы кто-нибудь спросил горожан, откуда взялась эта удача, они бы удивились вопросу. Удача взялась от трудолюбия, от предприимчивости, от хорошей земли и от того, что в Моунт Гардене, слава богу, жили толковые люди, которые умели считать. Так говорили в клубе торговцев, так писали в «Дейли Ньюс Моунт Гарден» — два цента за номер, — так учили детей в воскресной школе.

И только старики, которых в городе было немного, при этом вопросе почему-то поднимали глаза. Не к небу — повыше церковных крестов, туда, где за городом, за парком, за чёрной полосой леса поднималась гора.

На горе стоял замок.

Его было видно отовсюду. С любой улицы, из любого окна, с колокольни Святого Луки и с крыши фабрики Джетта. Чёрные шпили торчали над лесом, как вилки из салата, и в ясный день крыша блестела на солнце, будто начищенная серебряная крышка, которой в хороших ресторанах накрывают горячее блюдо. Замок был так огромен, что казался ближе, чем был на самом деле. Приезжие спрашивали: «А что это у вас там?» Горожане пожимали плечами: «Да так. Старая постройка. Всегда там стояла».

И это была правда. Замок стоял там всегда. Раньше города, раньше парка, раньше банка «Оук и сыновья» и, если верить старикам, раньше самой горы. Никто не знал, кто его построил. Никто не знал, кому он принадлежит: в земельной книге округа гора значилась как «неудобья, владелец не установлен», и налог с неё не брали. Никто не помнил, чтобы кто-нибудь туда ходил.



Моунт Гарден на закате. Над городом — замок в кольце терновника, внизу — зелёная крыша дома Салмонов.

Дороги к замку не было. Вершину горы обнимало плотное кольцо терновника и можжевельника — такое густое, что даже воробьи облетали его стороной. Мальчишки иногда пробовали пробраться — на спор, на доллар, на старый перочинный нож, — но всякий раз возвращались исцарапанными и злыми и говорили, что там не пролезть, там стена. Один, сын угольщика Дженкинса, вернулся не злым, а тихим, и потом месяц не разговаривал, и мать водила его к доктору Крэйну, и доктор Крэйн прописал ему бром и сказал, что у мальчика нервное истощение от чтения дешёвых романов.

Мальчик дешёвых романов не читал. Он вообще не умел читать.

И всё же замок не выглядел заброшенным. Это было, пожалуй, самым странным. Старые постройки ветшают: трескаются стены, проваливаются крыши, окна слепнут от пыли и выбитых стёкол. А замок на горе стоял так, будто его только вчера вымыли с мылом. Ни одна черепица не съехала с крыши. Ни одно окно не потеряло стекла. Иногда, в особенно тихие зимние вечера, в окнах загорался свет — не яркий, а тёплый, ровный, как от свечей в столовой богатого дома.

Кто-то там ужинает, думали в такие вечера жители Моунт Гардена. И тут же, не додумав, переводили взгляд на что-нибудь другое. На газету. На счёт от бакалейщика. На ребёнка, который опять порвал штаны.

Город умел считать. Но некоторые числа он предпочитал не складывать.

* * *

У подножия горы, там, где кончался город и начинался лес, был разбит парк Грин-Гарден-сквер. Его заложили в шестьдесят восьмом году на деньги банка «Оук и сыновья» — об этом сообщала бронзовая табличка у главных ворот, — и с тех пор он стал любимым местом горожан. Летом там играл духовой оркестр пожарной команды, по озеру плавали лебеди, а на чугунных скамейках сидели няньки с колясками и старики с газетами. Зимой озеро замерзало, и молодёжь каталась на коньках под звуки шарманки, а торговцы продавали горячий сидр по три цента за кружку.

Ворота парка были кованые, высокие, с позолоченными пиками и вензелем «MG» в железном круге. От них в обе стороны тянулась ограда на каменном цоколе, увитая плющом и

диким виноградом. У левого столба ворот, на перевёрнутом ящике из-под мыла, круглый год сидела старая цветочница.

Никто не знал, как её зовут. Её называли просто — старуха с фиалками, или цветочница, или, если хотели посмеяться, Фиалковая Мэгги. Она была такой старой, что казалась сделанной из того же серого камня, что и столбы ворот. Сгорбленная, в огромном сером платке, который покрывал её с головы до колен, как монашеский плащ, она сидела неподвижно, держа на коленях плетёную корзинку, и в корзинке всегда — летом и зимой, в июльскую жару и в январский мороз — лежали свежие фиалки. Лиловые, влажные, пахнущие так, будто их только что сорвали в лесу.

Где она брала фиалки в январе, никто не знал. Цветочники на Рыночной уверяли, что у неё оранжерея, и злились, потому что сами продавали зимние цветы втридорога, а она брала цент за букетик. Цент — и ни центом больше. На ящике, на котором она сидела, кто-то давным-давно вывел углём: «ФИАЛКИ 1¢». Надпись выцвела, её подновляли, она снова выцветала, но цена не менялась тридцать лет.

Покупали у неё мало. Не потому, что фиалки были плохи, а потому, что старуха пела.

Она пела всегда одно и то же, тонким надтреснутым голосом, похожим на скрип несмазанной петли. Пела, не глядя на прохожих, будто сама себе, будто на всякий случай. Песенка была короткая, на мотив старой колыбельной, и в Моунт Гардене её знал каждый, хотя мало кто признался бы, что знает:

Кто на гору со стулом пойдёт,
Тот к чужому ужину попадёт.
Пей водицу, ягод не ешь —
А не то сам на блюдо сядешь.

Дети, услышав её в первый раз, смеялись: «Какой ещё стул? Зачем на гору стул?» Взрослые не смеялись. Взрослые ускоряли шаг, отводили глаза и, если были с детьми, крепче сжимали их ладошки. Потом, вечером, за ужином, кто-нибудь непременно говорил: «Опять эта сумасшедшая у ворот. Куда только смотрит полиция?» И все соглашались, что полиция смотрит не туда. И никто не спрашивал, откуда сумасшедшая знает, что на горе ужинают.

Священник церкви Святого Луки, отец Мэллори, однажды пытался с ней поговорить. Он был молод, недавно прислан из семинарии и верил, что каждая заблудшая душа ищет утешения. Он подошёл к старухе, присел рядом на корточки, отчего его сутана легла на мокрый снег, и спросил ласково:

— Матушка, о каком ужине ты поёшь?

Старуха перестала петь. Подняла на него глаза — светлые, водянистые, с красными веками, — и долго смотрела. Отец Мэллори потом рассказывал, что глаза у неё были как у ребёнка, которого заперли в тёмном чулане и забыли выпустить.

— О том, отец, на который вас пока не позвали, — сказала она. — И молитесь, чтобы не позвали.

Отец Мэллори помолился. Через год он попросил перевода в другой приход и уехал. В его квартире при церкви нашли четыре стула, связанных верёвкой и прибитых гвоздями к полу.

* * *

Вот такой был город. Сытый, деловой, считающий. С банком, библиотекой и оперным театром. С замком на горе, о котором не говорили, и со старухой у ворот, которую не слушали.

В этом городе, в доме на углу Лиловой и Мостовой улиц, жили мистер Френк Салмон и его жена Хелен.

Дом был узкий, в два этажа, втиснутый между аптекой Гудмана и пансионом вдовы Ридли. Фасад из красного кирпича, белые наличники, крыльцо в три ступеньки и крыша, выкрашенная в зелёный цвет, с маленьким жестяным шпилем над чердаком. Шпиль был лишним — никакой пользы от него не было, разве что флюгер, который давно заржавел и показы-

вал всегда на северо-восток, то есть на гору. Но Френк этим шпилем гордился. Из-за него дом выглядел солиднее соседних, почти как особняк.

Дом стоил тысячу восемьсот долларов. Френк внёс триста наличными — всё, что скопил за шесть лет службы, — а остальное взял в рассрочку в банке «Оук и сыновья» под шесть процентов годовых, на двенадцать лет. Каждый месяц, первого числа, он относил в банк восемнадцать долларов сорок центов и получал квитанцию, которую подшивал в отдельную папку. Папка лежала в ящике письменного стола, а ящик запирался на ключ, а ключ Френк носил на цепочке от часов.

Ему нравилось, что всё в его жизни можно было сосчитать. Деньги, годы, ступеньки крыльца. Он считал их машинально, поднимаясь домой: *одна, две, три*. Три ступеньки, восемнадцать долларов сорок центов, двенадцать лет. Через двенадцать лет дом станет его. Через двенадцать лет ему будет тридцать девять. К тридцати девяти, если всё пойдёт правильно, он станет младшим партнёром в конторе мистера Оука, и тогда — тогда можно будет подумать о доме побольше. На Холме, где живут Джетты, Крэйны и сам старик Оук.

Френк Салмон любил думать о будущем. Будущее было большой аккуратной ведомостью, в которой всё сходилось.

Он ещё не знал, что в его ведомости уже стоит чужая запись. Что сделана она красивым конторским почерком с наклоном вправо. И что в графе «цена» напротив его имени пока пусто.

А на горе, в окнах замка, в тот вечер снова теплился свет.

Глава вторая. Пропажи

Мистер Гэрлик исчез в ночь на шестнадцатое ноября, и его жена Агата узнала об этом раньше, чем проснулась.

Ей снился сон — обычный, домашний, из тех, что снятся женщинам за сорок, когда день был длинным, а ужин тяжёлым. Ей снилось, что она стоит на кухне и режет лук, и лука всё больше, он не кончается, и глаза уже слезятся, а нож тупой, а в кастрюле что-то кипит и надо помешать. И вдруг сквозь бульканье кастрюли она слышит скрип. Тихий, долгий, деревянный. Так скрипят половицы, когда по ним идут на цыпочках. Или так скрипит стул, когда с него встают.

Агата Гэрлик двадцать лет проработала акушеркой, прежде чем выйти замуж за хозяина скобяной лавки на Мостовой. Она привыкла просыпаться от малейшего звука — от стука в дверь, от шагов посыльного, от крика роженицы через две улицы. Поэтому она проснулась сразу, вся целиком, как солдат по тревоге, и некоторое время лежала с открытыми глазами, глядя в темноту.

Скрип повторился. Внизу, в столовой.

— Генри, — шепнула она и протянула руку.

Рука легла на пустую подушку. Подушка была холодной.

Агата встала, нащупала на столике спички, зажгла свечу. Часы на камине показывали без двадцати три. Халат мужа висел на спинке кровати, его туфли стояли у двери — носами внутрь, как он всегда их ставил. Значит, Генри ушёл босиком. В ноябре. В три часа ночи.

Лунатик, подумала она. *У мужчин после пятидесяти бывает. Кровь густеет, сон беспокойный. Надо будет показать его Крэйну.*

Она взяла свечу и вышла на лестницу.

Дом Гэрликов был старый, ещё дедовский, с широкой лестницей и тяжёлыми дверями. Внизу, в столовой, стоял гарнитур, которым Генри гордился больше, чем лавкой, больше, чем женой, больше, чем всем на свете: шесть венецианских стульев с резными спинками, привезённых его дедом из Италии в сороковом году. Чёрное дерево, позолота, бархатные сиденья цвета старого вина. На каждой спинке — вырезанная из дерева гроздь винограда. Генри не позволял на них садиться даже гостям. Раз в месяц он сам натирал их воском, мягкой тряпочкой, медленно, сосредоточенно, как священник протирает чашу для причастия.

Агата спустилась. Дверь в столовую была открыта. Пламя свечи качнулось от сквозняка.

Входная дверь стояла нараспашку. В прихожую намело снега, и на снегу — Агата это потом хорошо запомнила и рассказывала инспектору, и рассказывала в суде, и рассказывала самой себе каждую ночь в течение следующих девяти месяцев, — на снегу были видны следы. Босые следы её мужа, ведущие к двери. А рядом с ними, ровно, парами, с одинаковым промежутком, — маленькие круглые вмятины. Четыре вмятины. Ещё четыре. Ещё четыре.

Так оставляют следы ножки стула, если стул идёт сам.

В столовой у стены стояли пять венецианских стульев. Шестой — тот, что во главе стола, на котором никто никогда не сидел, — исчез.

Агата Гэрлик не закричала. Акушерки не кричат, это вредно для дела. Она поставила свечу на стол, аккуратно закрыла входную дверь, задвинула засов, вернулась в спальню, надела поверх ночной рубашки пальто мужа — своё висело слишком далеко, — и пошла пешком в полицейский участок на Торговой улице. По дороге она ни разу не обернулась на гору. Хотя хотелось.

* * *

Инспектор Огастес Хадсон дежурил в ту ночь сам. Он часто дежурил сам — с тех пор как овдовел, ему было всё равно, где не спать.

Это был толстый человек пятидесяти двух лет, с рыжими усами, выцветшими до цвета ржавчины, с тяжёлыми веками и маленькими, очень внимательными глазами. В городе его считали увальнем и немного чудаком. Он носил в кармане жилета портновскую рулетку и пользовался ею по любому поводу: мерил расстояние от окна до кровати, высоту подоконника, длину шага убегающего вора по следам в грязи. Над ним посмеивались. Но за двадцать лет службы инспектор Хадсон раскрыл девяносто семь краж, одиннадцать поджогов и четыре убийства, и в каждом деле его рулетка сыграла свою роль.

Он выслушал Агату Гэрлик, не перебивая. Записал всё в книгу происшествий: время, имя, приметы. Потом поднял на неё глаза и спросил:

— Стул, вы сказали. Какой именно стул?

Агата описала. Хадсон записал и это — отдельно, на полях, мелко. Потом встал, взял фонарь и шинель и сказал:

— Пойдёмте. Пока снег не замело.

Снег не замело. Когда они пришли на Мостовую, следы ещё были видны: босые человеческие и круглые деревянные, рядом, как два спутника на прогулке. Они шли по Мостовой до перекрёстка, сворачивали на Лиловую, потом на Торговую — ровно посередине улицы, где днём ходила конка, — и дальше, мимо закрытых лавок, мимо банка «Оук и сыновья» с его тёмными окнами, мимо библиотеки, мимо оперного театра, до самых ворот парка.

У ворот следы обрывались. Не исчезали постепенно, как бывает, когда снег заметает тропу. Обрывались разом, на полушаге, словно и человек, и стул в этом месте поднялись в воздух.

Ворота парка были заперты на ночь. Цепь, замок, всё как положено.

Инспектор Хадсон долго стоял над последним следом, светя фонарём. Потом присел — колени у него хрустнули, — достал рулетку и измерил расстояние между вмятинами от ножек. Записал. Измерил длину босого шага. Записал. Посмотрел наверх, туда, где за чёрными деревьями парка, за чёрным лесом, высоко-высоко, горели три окна.

— Вы видите? — спросила Агата. Голос у неё сел.

— Вижу, мэм, — сказал инспектор. — Там иногда горит свет. Старая постройка.

— Генри там.

Хадсон помолчал.

— Туда нет дороги, миссис Гэрлик, — сказал он мягко. — Там терновник. Человеку не пройти. Тем более босиком. Тем более, простите, со стулом.

— Тогда где он?

Инспектор не ответил. Он смотрел на окна, и в свете фонаря Агата увидела его лицо — и вдруг поняла, что этот толстый, смешной, медлительный человек знает. Не догадывается, не подозревает, а знает. Как знают про родимое пятно на собственной спине: сам не видишь, но давно привык.

— Вы ведь уже такое видели, — сказала она. Не спросила — сказала.

Хадсон спрятал рулетку в карман.

— Я провожу вас домой, мэм. Утром я пришлю человека осмотреть дом. Заприте двери. И если вас не затруднит — сегодня не спите в столовой.

* * *

Через неделю пропала миссис Эприкот.

Это была вдова пятидесяти восьми лет, владелица шляпного магазина на Торговой, полная, громкая, весёлая женщина, у которой вечно были пальцы в булавках и перья на плечах. Её магазин назывался «Парижская мода», хотя в Париже она никогда не бывала, а самая модная из её шляпок — из соломки, с восковыми вишнями — стоила четыре доллара двадцать центов и раскупалась каждую весну. Жила она одна, над магазином, в трёх комнатах, обставленных с вызывающей роскошью. Её гордостью было кресло — настоящее, французское, барокко,

с золочёными завитками, с подлокотниками в виде львиных лап, обитое розовым атласом. Кресло она купила на аукционе в столице штата за сто двенадцать долларов, о чём рассказывала каждой покупательнице.

Утром двадцать третьего ноября приказчица пришла открывать магазин и нашла дверь на второй этаж распахнутой. Миссис Эприкот не было. Кресла тоже не было. На подоконнике лежала недоеденная плитка шоколада, а на полу — бумажка, на которой хозяйка магазина накануне вечером, по-видимому, начала составлять список: «Купить: перья страуса, 2 дюж. Ленты бархат. Позвонить Оуку насчёт займа. Сон опять тот же. Пахнет сдобой. Почему так хочется есть?»

На этом список обрывался.

«Дейли Ньюс Моунт Гарден» напечатала заметки об обоих исчезновениях на третьей полосе, между объявлением о продаже подержанного пианино и рекламой средства от облысения доктора Пирса.

«ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. В ночь на 16 ноября из своего дома на Мостовой улице бесследно исчез мистер Генри Гэрлик, 54 лет, владелец скобяной лавки. Вместе с ним пропал венецианский стул из фамильного гарнитура. Полиция ведёт розыск. Лиц, располагающих сведениями, просят обратиться к инспектору Хадсону».

«ЕЩЁ ОДНА ПРОПАЖА. Миссис Элоиза Эприкот, владелица магазина «Парижская мода», не появлялась у себя с вечера 22 ноября. Пропало также её любимое кресло в стиле барокко. Приказчица мисс Тиббс уверяет, что накануне хозяйка жаловалась на дурные сны. Магазин временно закрыт».

В тот же день в редакцию пришло одиннадцать писем. Девять — с версиями: кто-то видел мистера Гэрлика на вокзале, кто-то — миссис Эприкот в дилижансе, кто-то был уверен, что оба сбежали вместе, и намекал на это так прозрачно, что редактор вычеркнул половину. Одно письмо было от фабриканта Джетта, который предлагал награду в пятьсот долларов за любые сведения. И одно — без подписи, написанное дрожащей старческой рукой на обёрточной бумаге:

«Не ищите. Их позвали. Сезон начался. Прячьте стулья».

Редактор показал это письмо инспектору Хадсону. Инспектор прочитал его, сложил вчетверо и убрал в бумажник. Редактору он сказал, что это шутка какого-то сумасшедшего. Дома он достал из ящика стола старую папку, перевязанную бечёвкой, — папку, которую не открывал двадцать семь лет, — и положил письмо туда.

* * *

Город всполошился. Неделю, может быть, две.

Люди запирали двери на два оборота и на ночь подпирали их комодами. Некоторые — те, что посуевернее, — связывали стулья верёвками, а кто-то даже прибивал их к полу, как бедный отец Мэллори много лет назад. Мебельщики на Рыночной улице сначала испугались, что никто больше не будет покупать стулья, а потом обнаружили, что покупают даже больше: люди выбрасывали старые, «на всякий случай», и брали новые, самые простые, некрашеные, без всяких завитушек. Один предприимчивый столяр выставил в витрине табличку: «Стулья, которые никуда не уходят. Гарантия». Над ним посмеялись — и раскупили весь товар за три дня. Цены на стулья выросли на двадцать процентов.

Потом прошёл День благодарения, наступил декабрь, выпал настоящий, глубокий снег. В оперном театре давали «Фауста». В парке залили каток. Булочник Хиггинс начал печь рождественские кексы с цукатами, по тридцать центов за фунт. И город привык.

Так уж устроены люди: к странному и страшному они привыкают так же быстро, как к новой шляпе. Сначала она жмёт, потом перестаёшь замечать, а потом и вовсе не помнишь, что когда-то ходил без неё.

А цены на стулья, разумеется, так и не опустились.

Только инспектор Хадсон каждый вечер, возвращаясь домой, останавливался на углу Торговой и смотрел на гору. И считал окна, в которых горел свет. В середине ноября их было два. В конце ноября — три.

Он знал, что это значит. Он знал это с шестьдесят шестого года, когда ему было двадцать пять, и его младшая сестра Нелли однажды утром не вышла к завтраку, и её маленькое плетёное креслице, в котором она читала по вечерам, тоже исчезло.

Тогда окон было пять, прежде чем всё кончилось.

Глава третья. Мальчик над прачечной

Френк Салмон родился в шестьдесят шестом году, в феврале, в комнате над прачечной на Канальной улице, и первым, что он услышал в жизни, был плеск воды в корыте.

Его мать, Мэри Салмон, стирала чужое бельё. Двенадцать часов в день, шесть дней в неделю, по двадцать пять центов за корзину. Корзина — это шесть простыней, или десять рубашек, или двадцать пар чулок. Она стирала в подвале, а жила наверху, в комнате с одним окном, выходившим на кирпичную стену соседнего склада. Зимой на этом окне изнутри нарастал лёд толщиной в палец, и маленький Френк выцарапывал на нём ногтем цифры. Летом в комнату поднимался пар из прачечной, обои отклеивались и висели лохмотьями, а простыни на кровати никогда не высыхали до конца.

Отца Френк не помнил. Отец был моряком, или говорил, что был моряком, — Мэри так и не узнала наверняка. Он появился в Моунт Гардене весной шестьдесят пятого, снял угол в пансионе, полгода носил Мэри цветы и мятные леденцы, а через месяц после свадьбы сказал, что едет в столицу штата за работой, и уехал. Больше его никто не видел. От него осталась фамилия — Салмон, «лосось», — над которой соседские мальчишки потом смеялись: «Эй, Рыба! Рыба, плыви сюда!» — и старый морской сундук, в котором не было ничего, кроме ржавого компаса и колоды карт без пикового туза.

Компас Френк хранил до двадцати лет. Он показывал всегда на северо-восток. Как потом выяснилось, на гору.

Мэри Салмон была женщиной тихой и усталой. Руки у неё были красные, распаренные, в трещинах, которые не заживали круглый год и которые она смазывала гусиным жиром. Она редко улыбалась и почти не разговаривала, потому что за день так уставала, что на слова не оставалось сил. Но по воскресеньям, после церкви, она садилась у окна, сажала сына на колени и учила его считать.

— Один цент, — говорила она, кладя на подоконник медную монету. — Два цента. Это газета. Пять центов — батон. Двадцать пять центов — корзина белья. Сколько корзин надо выстирать, чтобы заплатить за комнату?

Комната стоила четыре доллара в месяц. Шестнадцать корзин. Френк считал быстро. В пять лет он умел складывать в уме трёхзначные числа. В шесть — делить. В семь, когда его отдали в приходскую школу, учитель мистер Бёрнс сказал, что никогда не видел мальчика, который так любит цифры.

— Цифры не врут, — объяснил ему маленький Френк серьёзно. — Люди врут, а цифры нет.

Мистер Бёрнс засмеялся и потрепал его по голове. А Френк не понял, что смешного.

* * *

Одно воспоминание детства Френк Салмон никогда никому не рассказывал. Даже Хелен.

Ему было семь. Была зима, вечер, мать задерживалась внизу: какая-то богатая дама с Холма прислала в прачечную срочный заказ — кружевные скатерти к званому ужину, двенадцать штук, и каждую надо было выстирать, накрахмалить и выгладить к утру. Френк сидел наверху один, при огарке свечи, и решал задачки из учебника. Задачки были скучные — про яблоки и купцов, — и он отвлекался и смотрел на окно, на ледяные узоры, похожие на папоротник.

И вдруг ему показалось, что за окном, на стене склада, что-то шевелится.

Он подошёл, подышал на лёд, протёр ладонью глазок. За окном была темнота, и кирпичная стена, и узкая полоска неба над ней. А на этой полоске, далеко-далеко, над крышами, над трубами, горели три жёлтых огонька. Окна замка на горе. Френк знал про замок — все дети знали. Но раньше он никогда не видел, чтобы там горел свет.

Он смотрел на эти огоньки и вдруг почувствовал запах. Сквозь прачечный пар, сквозь щёлок и мокрое бельё, сквозь вечную сырость их комнаты к нему пробился запах, которого он никогда в жизни не нюхал, но сразу узнал. Так пахнет в домах богачей перед Рождеством. Жареным гусем. Горячей сдобой с корицей. Апельсинами. Шоколадом. Чем-то ещё — сладким, тёмным, густым, как сироп.

У него заурчало в животе. Он был голоден всегда — они ели два раза в день, хлеб с салом и картофельный суп, — но в тот вечер голод стал таким сильным, что у мальчика закружилась голова. Он прижался лбом к ледяному стеклу и смотрел на огоньки, и ему хотелось только одного: оказаться там. За тем столом. Где всё это.

И тут он услышал голос. Не снаружи — внутри головы, тёплый, ласковый, как у тётушки, которой у него никогда не было:

Подрасти немножко, малыш. Подрасти и приходи. Только приноси свой стул.

Мать нашла его через час — спящим на полу у окна, свернувшимся, как котёнок. Лоб у него был красный и обожжённый холодом. Она отнесла его в кровать и легла рядом, чтобы согреть, а утром он ничего не помнил. Почти ничего. Только запах сдобы. И цифру три.

* * *

Каждое лето, с восьми до четырнадцати лет, Френк проводил у дяди Тома.

Дядя Том был братом матери, единственным её родственником, человеком громким, бородатым и пахнувшим табаком и ружейным маслом. Когда-то он работал лесничим у богатого землевладельца, потом поссорился с ним, купил участок в сорока милях от Моунт Гардена и построил там охотничий домик. Жил он охотой, продажей шкур и изготовлением чучел. Чучела у него получались такие, что за ними приезжали из столицы штата — для музеев, для клубов, для гостиных богачей.

Домик дяди Тома был полон мёртвых зверей, которые выглядели как живые. В сенях стоял медведь на задних лапах, с поднятой лапой, будто собирался ударить. В гостиной на стенах висели головы оленей, а на камине сидела рысь, и её стеклянные жёлтые глаза поблёскивали в свете огня. В спальне, где ночевал Френк, на шкафу сидела сова, и по ночам мальчику казалось, что она поворачивает голову и смотрит на него.

— Не бойся их, Френки, — говорил дядя Том, раскуривая трубку. — Они мёртвые. Мёртвые никого не трогают. Бояться надо тех, кто ещё дышит.

Френк кивал. Но однажды ночью, когда ему было десять, он проснулся от того, что в доме кто-то ходит. Он вышел в коридор и увидел дядю Тома — тот стоял в гостиной в одной рубахе, со свечой, и разговаривал с головой оленя. Тихо, ласково, как с ребёнком.

— …Вы не волнуйтесь, — говорил дядя Том. — Я помню. Я своё заплатил. В шестьдесят шестом я отдал вам Нэнси, и мы в расчёте. А мальчика не трогайте. Он ещё маленький. Он ещё не созрел.

Френк тихо вернулся в постель и до утра смотрел на сову.

Наутро он спросил у дяди, кто такая Нэнси. Дядя Том долго молчал, раскуривая трубку, которая никак не раскуривалась. Потом сказал:

— Моя жена, Френки. Твоя тётка. Ты её не знал. Она умерла.

— А почему ты говорил оленю, что отдал её?

Дядя Том посмотрел на него — долго, тяжело, — и Френк впервые увидел, что этот большой бородатый человек боится.

— Сон тебе приснился, малыш, — сказал он наконец. — Ты лунатик, как твоя мать в детстве. Иди-ка лучше натаскай воды.

Дядя Том умер, когда Френку было восемнадцать. Нашли его в гостиной, в кресле у камина, мёртвого уже три дня. Перед ним на столике стояла тарелка, а на тарелке лежала одна-единственная виноградина — тёмно-лиловая, с сизой дымкой. Свежая, хотя в доме было холодно, а виноград в тех краях в марте не продавался ни за какие деньги.

Чучела продали с аукциона. Медведь ушёл за сорок долларов, рысь — за двенадцать. Сову никто не купил, и Френк забрал её себе. Она простояла у него на шкафу до самой его женитьбы, а потом Хелен сказала, что она её пугает, и Френк отнёс сову на чердак. Там, под жестяным шпилем, она и сидела, глядя стеклянными глазами в маленькое круглое окошко. Окошко выходило на северо-восток.

* * *

В шестнадцать лет Френк окончил школу первым учеником, и мистер Бёрнс написал ему рекомендательное письмо в банк «Оук и сыновья». В письме говорилось, что юноша обладает исключительными способностями к счёту, безупречной аккуратностью и честностью, и что из него выйдет превосходный служащий. Френк отнёс письмо на Торговую улицу, в контору при банке, и прождал в приёмной три часа. Потом его вызвали.

В кабинете за высокой конторкой из чёрного дуба стоял — именно стоял, а не сидел, — старый человек. Худой, прямой, сухой, как жердь. Седые волосы, зачёсанные назад. Тонкие губы. Лицо, похожее на кору: морщинистое, твёрдое, без возраста. Френку он показался очень старым — лет шестидесяти. На самом деле ему было семьдесят девять. Но этого никто в городе не знал, потому что мистер Иеремия Оук не праздновал дней рождения.

Он прочитал письмо. Посмотрел на Френка поверх очков — глаза у него были светлые, почти бесцветные, как вода в стакане.

— Салмон, — сказал он. — Сын Мэри Салмон, прачки с Канальной.

— Да, сэр.

— Когда вы родились?

— В феврале шестьдесят шестого, сэр.

Мистер Оук помолчал. Что-то быстро посчитал в уме — Френк видел, как шевельнулись его губы.

— Хороший год, — сказал он наконец. — Урожайный. Вы приняты, мистер Салмон. Восемь долларов в неделю. Начинаете завтра в семь. Опоздаете хоть на минуту — уволю. Ошибётесь в счёте хоть на цент — уволю. Будете стараться — через десять лет станете старшим клерком. Через двадцать… — Он снова посмотрел на юношу тем странным оценивающим взглядом, каким на рынке смотрят на гуся, прикидывая, сколько в нём мяса. — Через двадцать посмотрим. Возможно, мы с вами поужинаем вместе.

Френк вышел из конторы, не чуя под собой ног. Восемь долларов в неделю! Это тридцать две корзины белья. Это значит, мать может стирать вдвое меньше. Это значит, через пять лет можно будет снять квартиру не над прачечной, а на втором этаже приличного дома, с окном на улицу.

Он шёл по Торговой и считал. И в первый раз за много лет, сам не зная почему, поднял глаза на гору.

Окна замка были тёмными. Было лето восемьдесят второго года. До сезона оставалось одиннадцать лет.

Мать умерла через два года, от воспаления лёгких. Последнее, что она сказала сыну, держа его руку в своих красных, потрескавшихся ладонях, было:

— Френки… Никогда не садись за чужой стол. Слышишь? Если позовут — не садись.

Френк обещал. Он думал, что мать бредит. Он записал в книжечку: «Похороны — 31 доллар 50 центов. Гроб сосновый, венок, место на кладбище Святого Луки». И больше в тот день ничего не записывал.

Глава четвёртая. Хелен

Хелен Бит появилась в Моунт Гардене в восьмидесятом году, двенадцатилетней девочкой с двумя косами и одним чемоданом, и первым, что она увидела с перрона, был замок на горе.

— Папа, смотри, — сказала она. — Там живёт великан.

Отец, Уолтер Бит, телеграфист железнодорожной компании, переведённый в Моунт Гарден с повышением на три доллара в неделю, рассеянно посмотрел туда, куда она показывала, и сказал:

— Это старые развалины, Нелл. Не выдумывай.

Но Хелен не выдумывала. Она видела. Она всегда видела то, что другие пропускали, — не числа, как Френк, а картинки. Узор трещин на потолке, похожий на карту несуществующей страны. Лицо в складках занавески. Человечка, нарисованного морозом на окне. Мать говорила, что у девочки слишком живое воображение и что это пройдёт, когда она выйдет замуж. Это не прошло.

Семья Бит поселилась в двух комнатах на Рыночной, над табачной лавкой. Отец целыми днями сидел в будке на вокзале и стучал ключом, мать брала на дом шитьё. Хелен ходила в городскую школу, а после школы — в библиотеку. Библиотеку только что построили, на деньги банка «Оук и сыновья», и она казалась девочке дворцом: мраморная лестница, чугунный фонтан у входа, высокие окна, шкафы до потолка и тишина — такая густая, что в ней можно было плавать.

Библиотекарем там служил мистер Финч — маленький, сутулый, в зелёном козырьке, с вечно перепачканными чернилами пальцами. Он заметил девочку, которая каждый день сидела в углу читального зала с книгой больше её самой, и однажды спросил, что она читает.

— Сказки братьев Гримм, — ответила Хелен.

— Страшные?

— Очень, — сказала она с восторгом. — Там мачеха заставляет девочку надеть раскалённые башмаки и танцевать, пока не умрёт. А ещё там есть дом из пряников, и в нём живёт ведьма, которая ест детей. Она их сначала откармливает.

Мистер Финч поправил козырёк.

— А ты знаешь, девочка, — сказал он, — что эти сказки не выдуманы? Братья Гримм их не сочиняли. Они ходили по деревням и записывали то, что рассказывали старухи. А старухи рассказывали то, что случалось на самом деле. Давно, конечно. Очень давно. Но случалось.

— И ведьма?

— Ведьма, может быть, и нет, — сказал мистер Финч. — Но дом, где детей сначала откармливают, а потом едят, — такой дом, девочка, найдётся почти в каждом городе. Надо только знать, куда смотреть.

Хелен запомнила это на всю жизнь. Хотя тогда решила, что старый библиотекарь просто хотел её напугать.

* * *

В восемнадцать лет она поступила в библиотеку помощницей — четыре доллара в неделю, расставлять книги, заполнять карточки, выдавать журналы дамам с Холма. В двадцать один мистер Финч, у которого слабели глаза, сделал её своим заместителем. Она знала каждую книгу в здании, каждую полку, каждую газетную подшивку в подвале — а подшивки там хранились с тысяча восемьсот двадцать девятого года, с самого первого номера первой городской газеты. Она любила спускаться в этот подвал, где пахло пылью, клеем и мышами, и читать старые объявления: «Продаётся корова, дойная», «Пропал мерин гнедой, нашедшему вознаграждение», «Требуется гувернантка, знающая французский».

Там, в подвале, она однажды впервые наткнулась на заметку о пропавшем человеке и его стуле. Заметка была от шестьдесят шестого года, короткая, на последней полосе. Хелен прочитала её, удивилась странной подробности про стул, хотела рассказать мистеру Финчу — и почему-то забыла. Просто забыла, как забывают сон через минуту после пробуждения.

Такое в Моунт Гардене случалось со многими.

С Френком она познакомилась в восемьдесят девятом году, в октябре, в читальном зале.

Он пришёл за книгой по бухгалтерии — «Двойная запись и коммерческая арифметика» профессора Хейла, второе издание, — и Хелен, выдав ему книгу, сказала:

— Вы уже третий раз её берёте.

Френк покраснел. Он был тогда высоким, худым, слишком серьёзным молодым человеком в слишком тщательно вычищенном сюртуке, с пенсне на шнурке, которое носил не потому, что плохо видел, а потому, что пенсне придавало солидности. Ему было двадцать три. Он служил в конторе мистера Оука седьмой год и получал уже четырнадцать долларов в неделю.

— Я её не дочитал, — сказал он.

— Неправда, — сказала Хелен. — Вы её дочитали три раза. Вы её не читаете, вы её учите наизусть. Я видела, как вы шевелите губами.

Френк покраснел ещё сильнее. А потом — неожиданно для самого себя — засмеялся. Смеялся он редко и неумело, будто стеснялся.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда посоветуйте мне что-нибудь, что не нужно учить наизусть.

Хелен подумала и принесла ему сказки братьев Гримм.

Он вернул книгу через неделю и сказал, что это самые жестокие и самые бессмысленные истории, какие он когда-либо читал. Что в них нет никакой логики. Что если бы Гензель и Гретель умели считать, они бы сразу поняли, что в пряничном доме слишком много бесплатной еды, а бесплатного ничего не бывает. И что он хотел бы обсудить это с ней подробнее, если она не против прогуляться в воскресенье в парке.

Хелен была не против.

* * *

Они поженились в мае девяносто первого года в церкви Святого Луки. Свадьба обошлась в шестьдесят семь долларов, включая платье, обед на двадцать гостей в ресторане «Корона» и фотографа. Френк записал каждый цент. Хелен смеялась над его книжечкой, а он не обижался: он знал, что она смеётся не над ним, а над тем, как он хмурится, выводя цифры.

Мистер Оук на свадьбу не пришёл, но прислал подарок — серебряный нож для разрезания бумаги и записку: «Поздравляю. Желаю вам обоим хорошего аппетита. И. Оук». Френк счёл записку странной, но решил, что старик просто неудачно пошутил. Хелен записку сожгла в тот же вечер, в камине ресторана. Сама не знала почему.

Они прожили год в меблированных комнатах вдовы Ридли, а в девяносто втором купили дом по соседству — тот самый, узкий, с зелёной крышей и жестяным шпилем. Когда они впервые вошли в него, ещё пустой и пахнущий краской, Хелен обошла все комнаты, трогая стены, как трогают лошадь, прежде чем на неё сесть.

— Здесь будет гостиная, — говорила она. — А здесь столовая. А здесь — твой кабинет, ты будешь сидеть там по вечерам и считать свои цифры, а я буду приносить тебе чай. А это… — Она остановилась на пороге маленькой комнаты на втором этаже, с окном на юг, на солнце. — А это мы пока назовём гостевой.

— Почему «пока»? — спросил Френк.

Хелен не ответила. Только порозовела.

В прихожую они поставили стул. Простой венский стул, гнутый, из светлого бука, с плетёным сиденьем — Френк купил его на Рыночной за два доллара десять центов. Хелен каждое утро садилась на него, чтобы застегнуть ботинки, а Френк вешал на его спинку шарф, когда

приходил с работы. Стул был ничем не примечателен. Таких стульев в Моунт Гардене было, наверное, тысячи. Но этот стоял в их прихожей, на их полу, и на нём каждое утро сидела Хелен. Поэтому он был их стулом.

* * *

В июне девяносто третьего года, в субботу, они пошли гулять в парк.



Июнь 1893 года. «Вы ведь из шестьдесят шестого, мистер? Февральский?»

Было десять часов утра, но солнце уже стояло высоко и припекало. Хелен надела светлое летнее платье с зелёным поясом и шляпку цвета спелой сливы с пером — Френк подарил её на годовщину свадьбы, она стоила три доллара восемьдесят центов в «Парижской моде» у миссис Эприкот, и это была самая дорогая вещь, которую Хелен когда-либо носила. Она взяла с собой розовый кружевной зонтик. Френк был в своём лучшем костюме и котелке и через каждые десять минут смотрел на часы — не потому, что куда-то спешил, а потому, что это успокаивало.

У ворот парка сидела цветочница. Увидев их, она протянула букетик фиалок.

— Купите даме цветы, сэр. Всего цент.

Хелен остановилась. Ей нравились фиалки, и нравилась эта старуха — было в её лице что-то от сказок братьев Гримм, от тех старух, которые встречаются героям на дороге и дают совет, который никто не слушает. Но Френк посмотрел на часы и сказал вежливо:

— Благодарю, мэм, не сегодня.

Цветы в его книжечке не значились. Он и сам не мог бы объяснить, почему цент на газету — это расход, а цент на фиалки — это трата. Просто так было устроено.

Старуха не обиделась. Она посмотрела на Френка — долго, пристально, как смотрят на человека, которого где-то видели, но не могут вспомнить где, — и вдруг сказала не своим певучим голосом, а обычным, тихим и сиплым:

— Вы ведь из шестьдесят шестого, мистер? Февральский?

Френк вздрогнул.

— Откуда вы знаете?

— По глазам видно, — сказала старуха. — Голодные глаза. Все, кто в том году родился, такие. — И отвернулась, и запела свою песенку, будто их и не было.

— Пойдём, — сказал Френк. Голос у него был неровный.

Они прошли в парк и долго молчали. Потом Хелен взяла его под руку и сказала:

— Френк, я хочу с тобой поговорить. Мне кажется, мы уже готовы к тому, чтобы нас стало больше.

— Больше? — переспросил Френк и по привычке поправил пенсне. Он всё ещё думал о старухе.

— Да, — улыбнулась Хелен и порозовела.

Френк остановился. Посмотрел на неё. И старуха, и её голодные глаза, и шестьдесят шестой год — всё это вылетело у него из головы, как воробей из открытого окна.

— О, Хелен, — сказал он. — Какие прекрасные слова.

И тут же, будучи Френком, добавил:

— Значит, нужно подготовить гостевую комнату. Обои, кроватка, бельё. Думаю, долларов сорок. Ну, пятьдесят — если с качалкой.

— С качалкой, — твёрдо сказала Хелен.

И оба рассмеялись — так громко, что лебеди на озере испуганно захлопали крыльями.

* * *

В июле они переделали гостевую в детскую. Стены оклеили обоями с жёлтыми утятами — Хелен выбирала их три дня, перебрав все образцы у обойщика Дэвиса. Поставили белую кроватку с балдахином и маленький комод. А в угол, у окна, — качалку. Белую детскую качалку-кресло на гнутых полозьях, с резной спинкой в виде солнышка. Её Френк заказал у лучшего столяра на Рыночной, и она обошлась в девять долларов — дороже, чем всё остальное, вместе взятое.

Вечером Френк сел за стол в своём кабинете, открыл чёрную книжечку и записал:

«Детская — 52 доллара 40 центов».

И впервые в жизни не пожалел ни одного цента.

Ребёнка пока не было. Хелен не была беременна — они только решили, только начали надеяться. Но детская уже стояла, светлая, пахнущая свежей краской, и по утрам солнце падало на утят на обоях, и качалка у окна чуть-чуть покачивалась от сквозняка. Хелен иногда заходила туда просто так, садилась на край кроватки и смотрела на качалку. Ей казалось, что качалка ждёт.

Она не знала, насколько права.

В августе ей впервые приснился сон, в котором качалка стояла не у окна детской, а в огромном зале, на самом верху высокой башни из стульев. А под ней, у подножия башни, за длинным столом, сидели люди в пудреных париках — огромные, неподвижные — и смотрели вверх. И у каждого в руке была ложечка. Маленькая серебряная десертная ложечка.

Хелен проснулась в холодном поту, разбудила Френка и рассказала ему сон. Френк выслушал, поцеловал её в лоб и сказал, что это от жары и от пирожных, которых они наелись в «Короне».

Он не сказал ей, что вот уже неделю видит похожие сны. Только в его снах башня ещё не была достроена. И одного стула в ней не хватало.

Глава пятая. Сны и конторка

Осенью девяносто третьего года Френк Салмон начал есть.

Не то чтобы он раньше не ел. Ел, конечно, — три раза в день, аккуратно, умеренно, как всё, что он делал. Овсянка на завтрак, сэндвич с ветчиной в обед — в закусочной Бойла на Торговой, пятнадцать центов, — и ужин дома: суп, мясо, картофель, по воскресеньям пирог. Френк никогда не был обжорой. Обжорство казалось ему таким же неряшливым пороком, как пьянство или долги.

А в сентябре что-то изменилось.

Сначала он стал просыпаться голодным. Не просто голодным — пустым, словно ночью кто-то вычерпал его изнутри ложкой. Он спускался на кухню, ещё до того как вставала Хелен, и съедал всё, что находил: вчерашний хлеб, холодную картошку, банку джема, который Хелен варила к зиме. Ел стоя, быстро, почти не жуя, и только когда желудок наполнялся, приходил в себя и с изумлением смотрел на пустые тарелки.

Потом он стал ходить к Бойлу не за одним сэндвичем, а за тремя. Потом — в «Корону», где обед из четырёх блюд стоил семьдесят пять центов. Он ел и записывал в книжечку: «Обед — 75 ц.», «Обед — 80 ц.», «Обед с десертом — 1 д. 10 ц.», и цифры его пугали, потому что за месяц на еду вне дома уходило больше, чем за весь прошлый год. Но остановиться он не мог.

При этом он не толстел. Наоборот, к ноябрю сюртук стал болтаться на нём, как на вешалке, а под глазами залегли синие тени. Хелен беспокоилась. Она пекла ему пироги, варила густые супы, подкладывала в тарелку лучшие куски. Френк ел всё и благодарил, а через час снова был голоден.

— Сходи к доктору, — просила Хелен.

— Схожу, — обещал Френк. И не шёл. Ему казалось, что доктор не поможет. Что этот голод не в желудке, а где-то глубже — там, где у человека живут желания, о которых он сам не знает.

А ещё были сны.

* * *

Сон всегда был один и тот же, и Френк знал его наизусть, как таблицу умножения.

Он идёт по тропе через лес. Лес зимний, тихий, снег скрипит под ногами. Тропа ведёт вверх, к замку, и окна замка горят тёплым, золотым светом. Из окон пахнет — так же, как в ту ночь над прачечной, когда ему было семь: гусем, сдобой, корицей, апельсинами и чем-то ещё, тёмным и сладким. Френк идёт быстрее, почти бежит, потому что голод внутри становится невыносимым. Но тропа не кончается. Замок не приближается. Френк бежит, а замок висит над ним, всё такой же далёкий, и из его окон доносится смех и звон посуды, и кто-то там, за стеклом, говорит ласково:

Ещё немножко, малыш. Ты почти созрел. Только не забудь свой стул.

И он просыпается — пустой, голодный, с мокрым от пота лбом, — и за окном спальни, в темноте, над крышами, горят три жёлтых окна.

Он считал их каждую ночь. В сентябре их было одно. В октябре — два. В конце ноября — три.

Он не рассказывал Хелен. Ни про сны, ни про окна. Он говорил себе, что не хочет её пугать — она и так всё время думает о ребёнке, которого всё никак нет, и ходит какая-то задумчивая. Но правда была в другом, и Френк это знал, хотя никогда бы не признался даже себе.

Он не рассказывал, потому что боялся: если расскажет, она попросит его не думать об этом. А он не хотел переставать думать. Сны были страшными, но они были и сладкими. В них

было обещание. Как в хорошей сделке, где прибыль так велика, что не веришь своим глазам, и именно поэтому подписываешь, не читая мелкий шрифт.

* * *

Контора мистера Оука занимала весь второй этаж банка «Оук и сыновья» на Торговой. Двенадцать клерков сидели за высокими конторками в длинном зале с окнами на улицу, а в конце зала, за стеклянной перегородкой, был кабинет самого мистера Оука. Сыновей у мистера Оука не было — «и сыновья» в названии банка осталось от тех времён, когда банк основал его отец, — и никаких партнёров тоже. Мистер Оук вёл дела один. Он приходил в шесть утра, раньше всех, а уходил в десять вечера, позже всех, и никто никогда не видел, чтобы он обедал.

Френк сидел за третьей конторкой от перегородки — это было почётное место, место старшего клерка, которое он получил весной. Отсюда было видно кабинет: высокую конторку чёрного дуба, за которой мистер Оук работал стоя, ряд гроссбухов на полке, массивный несгораемый шкаф в углу — зелёный, с бронзовыми ручками, с надписью «Херринг и К°, Нью-Йорк». Шкаф открывался двумя ключами. Один ключ мистер Оук носил на шее, на шнурке, под рубашкой. Где был второй, никто не знал.

В понедельник двадцать седьмого ноября, в четыре часа пополудни, мистер Оук вызвал Френка в кабинет.

— Садитесь, Салмон.

Френк замер. За одиннадцать лет мистер Оук ни разу не предлагал ему сесть. Ни ему, ни кому-либо другому. В кабинете был только один стул — тяжёлое кресло с высокой спинкой, обитое чёрной кожей, — и на нём никто никогда не сидел.

— Благодарю, сэр, я постою.

Мистер Оук посмотрел на него своими бесцветными глазами и чуть-чуть улыбнулся. Улыбка у него была как трещина в коре.

— Правильно, — сказал он. — Не садитесь, если не уверены, что стул ваш. Хорошее правило. Мой отец его придумал. — Он помолчал. — У меня к вам дело. Деликатное. Мне нужно свести один особый счёт за последние два месяца, а глаза уже не те. Цифры прыгают. Вы лучший счётчик в конторе, Салмон. Вы сделаете это для меня?

— Разумеется, сэр.

Мистер Оук открыл зелёный шкаф — Френк увидел, что второго ключа не понадобилось: шкаф был открыт ещё до того, как он вошёл, — и достал оттуда гроссбух. Толстый, тяжёлый, в переплёте из потрескавшейся тёмной кожи, с медными уголками. Корешок был стёрт до основы. На обложке не было никакой надписи.

Мистер Оук положил гроссбух на конторку, раскрыл его на закладке — шёлковой ленточке цвета старого вина, — и отступил на шаг.

— Последние три страницы, — сказал он. — Сложите суммы в последней графе. Проверьте, нет ли ошибок. Больше ничего не читайте, Салмон. Это не ваше дело. Вы поняли?

— Да, сэр.

Мистер Оук вышел из кабинета — впервые на памяти Френка оставив клерка одного рядом с открытым шкафом — и прикрыл за собой стеклянную дверь.

Френк посмотрел на страницу.

Разлиновка была старомодной, ручной, по линейке. Четыре графы: дата, имя, предмет, цена. Почерк — мистера Оука, Френк узнал бы его из тысячи: красивый, конторский, с наклоном вправо. Чернила свежие, чёрные. Френк начал читать — не потому, что хотел нарушить запрет, а потому, что нельзя сложить цифры, не видя, против чего они стоят. Так он себе сказал.

Ноябрь 16, 1893. Генри Гэрлик, 54. Стул венецианский, чёрн. дерево, позолота. Цена: подряд на поставку рельсов для ж.-д. компании (Джетт), 40 000.

Ноябрь 22, 1893. Элоиза Эприкот, 58. Кресло франц., барокко, атлас роз. Цена: заём муниципалитету на новый водопровод, 65 000.

Ноябрь 29, 1893. —

Последняя строка была не заполнена. Только дата. Через два дня.

Френк сложил цифры. Сто пять тысяч. Проверил. Сто пять тысяч. Проверил ещё раз, медленно, водя пальцем. Цифры не врали. Цифры никогда не врут. Врут люди — и, может быть, книги, в которые люди эти цифры записывают.

Страховка, подумал он. *Это какой-то страховой реестр. Мистер Оук застраховал… что? Жизни? Стулья? Город?*

Мысль была глупой, и он это понимал. Но другая мысль, которая стояла за ней, была ещё хуже, и на неё он смотреть не хотел.

Он перевернул страницу назад. Нарушая запрет — он отметил это холодно, как отмечают в ведомости ошибку, — но всё-таки перевернул. Там были такие же записи. Двадцать семь лет назад: «Ноябрь 29, 1866. Сайлас Джетт, 61. Табурет кованый (из мастерской). Цена: ссуда на фабрику на Литейной, 12 000». «Декабрь 1866. Нэнси Барроу, 34. Скамеечка для ног, вышитая. Цена: — (взнос Томаса Барроу, охотника, за себя и мальчика)». «Декабрь 1866. Нелли Хадсон, 15. Креслице плетёное. Цена: участок под парк, Грин-Гарден-сквер».

Нэнси Барроу. Тётя Нэнси. Жена дяди Тома. Френк знал, что девичья фамилия матери была Барроу.

Я своё заплатил, сказал дядя Том оленьей голове тридцать лет назад. *Я отдал вам Нэнси. А мальчика не трогайте.*

За мальчика. За себя и мальчика.

Френку стало холодно, будто кто-то открыл окно. Он поднял голову и увидел сквозь стеклянную перегородку мистера Оука. Старик стоял в конце зала, у окна, спиной к нему, и смотрел на улицу. Не на улицу — выше. На гору. Неподвижный, прямой, как столб.

Френк быстро вернул закладку на место. Взял лист бумаги, написал: «Итого по трём страницам: 105 000. Ошибок не обнаружено. Ф. Салмон». Положил записку на гроссбух. И вышел из кабинета.

Мистер Оук обернулся.

— Сошлось?

— Сошлось, сэр.

— Вы ничего лишнего не читали?

Френк посмотрел ему в глаза. Старик смотрел спокойно, почти ласково.

— Нет, сэр, — сказал Френк. Это была первая ложь, которую он сказал мистеру Оуку за одиннадцать лет службы.

Мистер Оук кивнул.

— Хорошо. — И вдруг, будто между прочим: — Как ваш аппетит, Салмон? Вы осунулись.

— Благодарю, сэр, хорошо.

— Это хорошо, что хорошо. Аппетит — это главное. — Мистер Оук отвернулся к окну. — Вы свободны. Можете сегодня уйти пораньше. И завтра тоже. Отдохните. Погуляйте. В парке сейчас красиво. Снег.

* * *

В тот вечер Хелен встретила его в прихожей с горящими глазами.

— Френк, — сказала она, — я записалась к доктору Крэйну. На среду.

— Ты больна? — Он похолодел.

— Нет. — Она взяла его руки в свои. — Мне кажется… Я не уверена. Но мне кажется, что гостевая комната больше не гостевая.

Френк долго смотрел на неё. Потом обнял — крепко, неловко, так что пенсне свалилось с носа и повисло на шнурке, — и стоял так в прихожей, рядом со стулом, на котором она каждое утро застёгивала ботинки.

Он должен был сказать ей. Про гроссбух. Про дядю Тома и тётю Нэнси. Про пустую строку с датой «29 ноября». Он открыл рот, чтобы сказать.

И почувствовал запах. Сдоба. Корица. Апельсины. Из кухни, где Хелен пекла пирог. Обычный яблочный пирог, по рецепту её матери. Но Френку на миг показалось, что пахнет не оттуда. Что пахнет — сверху.

— Пойдём ужинать, — сказал он вместо этого. — Я ужасно голоден.

Ночью он стоял у окна и смотрел на гору. Окон было четыре.

В среду, двадцать девятого ноября, Хелен должна была пойти к доктору Крэйну к трём часам. Френк должен был встретить её у библиотеки в пять.

В среду, двадцать девятого ноября, в графе «имя» напротив пустой даты должно было появиться чьё-то имя.

Френк Салмон, лучший счётчик в конторе, умел складывать числа. Но некоторые числа он предпочитал не складывать.

Глава шестая. Дверь для великана

Во вторник, двадцать восьмого ноября, в обеденный перерыв, Френку не хотелось есть.

Это было так странно, что он остановился посреди зала конторы и прислушался к себе, как прислушиваются к часам, которые вдруг перестали тикать. Три месяца голод сидел в нём, как квартирант, который не платит за комнату. А сегодня квартирант съехал. Внутри было пусто, тихо и чисто, как в доме перед приездом важных гостей.

Перед приездом, повторил кто-то у него в голове. *Перед приездом гостей не едят, малыш. Перед приездом гостей готовят стол.*

Френк надел пальто и вышел на улицу.

Был серый, тихий день. Ночью выпал снег, и Торговая улица стала белой и чистой, как новая скатерть. По ней, звеня колокольчиком, ползла конка — красный вагон, две лошади в попонах, кучер в башлыке. Френк вскочил на подножку, протянул кондуктору цент и сел у окна. Потом достал книжечку и записал: «Конка — 1 ц.». Пальцы у него не дрожали. Он отметил это с удовлетворением.

Он не собирался ехать к парку. Он собирался доехать до Рыночной, купить там Хелен шерстяные перчатки — её старые протёрлись на пальцах — и вернуться в контору. Так он себе сказал. Но когда конка остановилась у Рыночной, он не вышел. И на следующей остановке не вышел. И только когда кондуктор крикнул: «Грин-Гарден-сквер, конечная!» — Френк поднялся и сошёл на снег. Будто кто-то вёл его за руку.

Цветочница сидела у ворот на своём ящике. Снег лежал у неё на плечах и на платке, и она его не стряхивала. Корзинка с фиалками стояла у ног, и цветы в ней были свежими, влажными, лиловыми — посреди белого, мёртвого, зимнего мира.

Она подняла на Френка водянистые глаза и молча протянула букетик.

Френк хотел пройти мимо. Он уже отвернулся, уже сделал шаг. И вдруг остановился, полез в карман, достал цент и положил ей в ладонь.

Ладонь была ледяная и твёрдая, как деревяшка.

Старуха не дала ему цветы. Она сжала монету в кулаке и долго смотрела на Френка. Потом сказала — тихо, без песенки, обычным сиплым голосом:

— Вы уже ничего не едите, мистер. Да? Со вчерашнего дня. Не хочется.

Френк промолчал.

— Это значит, вас уже накрыли, — сказала старуха. — Записали. Поставили вам прибор. — Она разжала кулак и посмотрела на цент. — Хотите совет на цент, мистер? Не ходите сегодня наверх. Сегодня ещё можно не ходить. Завтра будет нельзя.

— Я никуда не собираюсь, — сказал Френк.

Старуха засмеялась. Смех был тихий, сухой, как шорох бумаги.

— Все так говорят. Мистер Гэрлик так говорил. Он мне тоже дал цент, за день до того. Хороший был человек, жадный только. А вы на него похожи. — Она вдруг протянула руку и коснулась его пальто, там, где под ним было сердце. — Ох, малыш. Голодный ты мой. Ведь не за едой ты туда идёшь, а? За чем-то другим. А они всё равно накормят. Они всех кормят.

Френк отшатнулся и пошёл в парк. Быстро, не оглядываясь. За спиной он слышал, как старуха снова запела, — и в этот раз в её голосе было что-то, чего он не слышал раньше. Не предостережение. Жалость.

* * *

Озеро замёрзло, и на льду катались дети. Над катком висел пар от их дыхания, и было слышно, как скрипят коньки и смеётся какая-то девочка — высоко, заливисто, будто колокольчик. Френк остановился на берегу. Он стоял на том самом месте, где летом Хелен сказала ему, что их станет больше. Он смотрел на детей. Потом поднял глаза.

Над парком, над лесом, над скалами стоял замок.

Отсюда он был виден лучше, чем из города. Френк различал теперь не только шпили, но и стены — тёмные, гладкие, без единого выступа. И окна — узкие, высокие, в два человеческих роста. И даже, кажется, крыльцо — широкое, белое от снега, с высокими ступенями.

Ноги пошли сами.

Он сошёл с дорожки и двинулся через заснеженный газон к опушке, туда, где кончался парк и начинался лес. Снег был глубоким, по щиколотку, и сразу набился в ботинки. Френк этого не заметил. Он шёл, глядя вверх, и в голове у него было тихо и пусто, как в соборе после службы.

Лес встретил его тишиной. Не той уютной тишиной, какая бывает в зимнем лесу, — с поскрипыванием веток, с перестуком дятла, с шорохом снега, осыпающегося с елей. Здесь было тихо по-другому. Как в комнате, где только что замолчали все разговоры, потому что вошёл кто-то важный.

Френк поднимался. Склон становился круче. Он хватался за стволы, скользил, падал на колено, вставал. Ему было жарко, он расстегнул пальто. Взглянул на часы — половина второго. До конца перерыва оставалось полчаса. *Мне не нужно возвращаться,* подумал он. *Оук сказал: можешь уйти пораньше. Можешь погулять. В парке красиво. Снег.*

Это был первый раз, когда он подумал о мистере Оуке без «мистера».

Чем выше он поднимался, тем тише становилось. Смолкли голоса с катка. Смолк колокольчик конки где-то внизу, в городе. Даже собственное дыхание Френк перестал слышать — будто воздух здесь был таким плотным, что глотал звуки.

И тогда он увидел терновник.

* * *

Это была стена. Не кусты, не заросли — стена, высотой в два человеческих роста, сплетённая из чёрных, узловатых, переплетённых ветвей. Ветви были толщиной в руку, и на каждой торчали шипы — длинные, острые, загнутые, как рыболовные крючки. Между шипами, несмотря на зиму, висели ягоды — мелкие, тёмно-синие, с сизым налётом. Терновник обнимал гору кольцом, и это кольцо уходило в обе стороны, сколько хватало глаз, теряясь между деревьями.

Френк подошёл ближе. И увидел, что в терновнике что-то висит.

Клочки ткани. Много. На шипах, на ветках, на уровне груди, плеч, колен. Серая шерсть. Клетчатый твид. Кусок кружева, пожелтевший от времени. Обрывок синего бархата. Детская варежка, красная, вязаная, с вышитой снежинкой. Обрывки одежды тех, кто пытался пробраться сквозь эту стену и не смог, — или смог, но оставил на шипах часть себя.

А прямо перед Френком, на высоте его лица, на длинном шипе висела дамская шляпка.

Соломенная, с широкими полями, с бархатной лентой. На ленте — гроздь восковых вишен. Френк видел такую шляпку в витрине «Парижской моды» на Торговой. Четыре доллара двадцать центов. Самая модная модель сезона. Хелен тогда остановилась у витрины и долго на неё смотрела, а потом сказала: «Нет, слишком легкомысленно».

Шляпка была совсем новой. Снег на её полях лежал ровным, нетронутым слоем — значит, она висела здесь не больше недели. С двадцать второго ноября, подумал Френк. С той ночи, когда исчезла миссис Эприкот.

Он протянул руку и коснулся вишен. Воск был холодным. А под ним, между ягодами, торчал шип, и на шипе — Френк наклонился, чтобы разглядеть, — на шипе висела маленькая капля. Тёмная, замёрзшая, похожая на гранатовую бусину.

Френк отдёрнул руку. Шип полоснул его по тыльной стороне ладони — быстро, легко, как бритва. Выступила кровь. Френк посмотрел на неё с изумлением: он даже не почувствовал боли.

Терновник шевельнулся.

Не от ветра — ветра не было. Ветви чуть-чуть, на волосок, качнулись к нему. Будто принюхивались. Ягоды на них потемнели и налились, и Френку показалось, что он слышит тихий, довольный вздох — откуда-то из глубины зарослей, или из-под земли, или из самой горы.

Он попятился. Время. Надо было уходить. Он посмотрел на часы — и с ужасом увидел, что стрелки показывают без четверти четыре. Два часа. Он простоял перед терновником два часа, а показалось — минуту.

* * *

Он спускался почти бегом, скользя и падая. На самом высоком месте тропы — там, где деревья расступались и с горы был виден весь Моунт Гарден, — он остановился перевести дух и обернулся.

И замер.

Отсюда, сверху и сбоку, он видел то, что было не видно ни из города, ни из парка. Вход в замок. Широкое крыльцо из белого камня, с высокими ступенями, — таких высоких, что на каждую пришлось бы забираться, как на стол. И дверь.

Дверь была огромной. Арочной, резной, из тёмного дерева, окованной чёрным железом. Размером с ворота пожарной части на Торговой. А ручка — бронзовая, тускло поблёскивающая в сумерках, в виде кольца, которое держит в зубах львиная голова, — висела так высоко, что до неё не дотянулся бы и самый высокий человек в Моунт Гардене. Даже если бы встал на цыпочки. Даже если бы подпрыгнул.

Чтобы до неё дотянуться, нужно было на что-нибудь встать.

На стул, например.

Можно подумать, там когда-то жил великан, подумал Френк. И тут же поправил себя, и от этой поправки по спине у него прошёл мороз:

Или живёт.

Он стоял и смотрел на дверь, и дверь, казалось, смотрела на него. А потом в одном из окон, высоко, на четвёртом этаже, качнулась занавесь. Словно кто-то стоял за ней и, увидев Френка, отошёл вглубь комнаты — неторопливо, без испуга. Как хозяин отходит от окна, увидев, что гость уже идёт, и пора распорядиться насчёт ужина.

* * *

Домой он пришёл в седьмом часу, мокрый, в изодранных брюках, с полными снега ботинками. Хелен ахнула.

— Френк! Где ты был? Что с тобой?

— Упал, — сказал он. — На Торговой гололёд. Поскользнулся, скатился в канаву. Глупо.

Она увела его на кухню, стянула мокрое пальто, налила горячего чаю с ромом. Он сидел, обхватив кружку обеими руками, и молчал. Хелен села напротив, взяла его руку — и увидела на тыльной стороне ладони длинную, тонкую, уже подсохшую царапину.

— Откуда это?

Френк посмотрел на царапину. Она была ровной, аккуратной, будто прочерченной по линейке. Почти как разлиновка в гроссбухе.

— Гвоздь в конторе, — сказал он. — Зацепился за конторку. Там гвоздь торчит, я давно говорю, чтобы забили.

Хелен смазала царапину йодом и забинтовала. Она поверила. Она всегда ему верила. За два с половиной года брака он ни разу ей не солгал — в этом она была уверена так же, как в том, что солнце встаёт на востоке.

Это была первая неправда, которую Френк Салмон сказал своей жене.

Ночью он лежал без сна и слушал, как она дышит рядом. Ровно, спокойно, чуть посапывая. Она спала, положив ладонь на живот — недавно у неё появилась эта привычка, и Френк от неё млел. Он думал о шляпке с восковыми вишнями. О капле на шипе, похожей на гранатовую

бусину. О двери, до ручки которой можно дотянуться, только встав на стул. О пустой строке в гроссбухе с датой «29 ноября».

Завтра будет нельзя, сказала старуха.

Он встал, подошёл к окну. Над крышами горели окна замка.

Пять.

А внизу, в прихожей, в темноте, тихо, едва слышно скрипнул венский стул. Будто кто-то сел на него. Или будто он сам переступил с ножки на ножку — от нетерпения.

Глава седьмая. Банка с гвоздями

В среду утром, двадцать девятого ноября, Френк и Хелен поехали на конке вместе, как ездили каждый день.

Вагон был полон: клерки в котелках, продавщицы в шляпках с искусственными цветами, рабочие с Литейной в промасленных куртках, школьники с ранцами. Пахло мокрой шерстью, табаком и мятными леденцами. Хелен сидела у окна и читала вслух газету — колонку объявлений, которую обожала, — и смеялась.

— Послушай: «Молодой вдовец, 52 лет, с капиталом, желает познакомиться с девицей не старше двадцати, скромной и хозяйственной, с целью брака. Пианино не обязательно». Френк, почему «пианино не обязательно»? Он что, боится, что она будет играть?

Френк улыбнулся. Он смотрел в окно. Над домами, над трубами, над колокольней Святого Луки стоял замок. Днём окна не горели, но Френк знал: их пять.

— Ты сегодня к доктору, — сказал он.

— В три, — кивнула Хелен и сжала его руку. — А в пять ты встречаешь меня у библиотеки. И я тебе всё скажу. Или не скажу — если ещё рано. Но ты всё равно приходи.

— Приду.

Он сказал это легко, как говорят о само собой разумеющемся. Приду. В пять. Конечно. Он ещё ни разу в жизни не опаздывал.

Она вышла у библиотеки, помахала ему с мраморной лестницы, и розовая лента на её шляпке мелькнула в толпе. Френк смотрел ей вслед, пока конка не свернула за угол. Он хотел запомнить. Сам не знал зачем.

* * *

В конторе мистер Оук встретил его у дверей. Это тоже было впервые.

— Салмон. После обеда поедете к мистеру Джетту на Литейную. Новые условия по рельсовому подряду. — Он протянул папку. — Обсудите, подпишете, отчитаетесь мне завтра. Не сегодня — завтра. Сегодня можете в контору не возвращаться.

— Слушаюсь, сэр.

Мистер Оук задержал папку в руке на мгновение дольше, чем было нужно, — так, что Френку пришлось потянуть.

— И, Салмон. Мистер Джетт стар и любит поговорить. Он будет рассказывать вам истории. Не принимайте их близко к сердцу. — Бесцветные глаза смотрели спокойно. — Он не всегда был в здравом уме. После смерти отца. Это было давно.

— Я понял, сэр.

— Я знаю, что вы поняли. Вы всегда всё понимаете, Салмон. За это я вас и ценю.

* * *

Фабрика Джетта занимала целый квартал на Литейной улице, у реки. Три кирпичных корпуса, две трубы, из которых день и ночь валил чёрный дым, склады, конюшни, железнодорожная ветка с собственной маленькой станцией. Над главными воротами — чугунная вывеска: «А. ДЖЕТТ И К°. ГВОЗДИ, ПЕТЛИ, ЗАМКИ. ОСН. 1858». Внутри грохотали паровые молоты, визжали станки, и сквозь всё это доносился ровный стальной шорох, похожий на дождь: это сыпались в ящики гвозди. Сорок тысяч в день.

Контора помещалась в отдельном доме у ворот — двухэтажном, деревянном, старом, гораздо старше фабрики. Это была та самая скобяная лавка, с которой всё начиналось. Мистер Джетт её не снёс. Он перестроил второй этаж под кабинет и сидел там уже тридцать пять лет, среди дубовых панелей, гравюр с видами паровозов и запаха машинного масла, который въелся в стены навсегда.

Амброуз Джетт был невысоким, плотным человеком шестидесяти трёх лет, с красным лицом, седыми бакенбардами, похожими на два пучка пакли, и руками кузнеца — широкими, в старых шрамах от ожогов. Держался он прямо, как не всегда умеют и молодые. Говорил громко, смеялся раскатисто, ругался по-матросски и раз в год, на Рождество, раздавал рабочим по индейке и доллару наличными. Его любили и побаивались. В городе говорили, что он самый честный богач в штате. Это было, в общем, правдой. Если не считать одной вещи, о которой Джетт никому не говорил.

На его письменном столе, среди бумаг, счетов и образцов новых замков, стояла стеклянная банка из-под леденцов. В банке лежали гвозди. Не фабричные, ровные и блестящие, а старые, кованые, кривоватые, тёмные от времени. Каждый — с квадратной шляпкой, с чуть заметным следом молотка.

— С этих гвоздей я начинал, — сказал мистер Джетт, заметив взгляд Френка. — Отец ковал, я продавал. В пятьдесят восьмом. Тогда в лавке были только гвозди, петли да подковы. Гвоздь держит дом, Салмон. А честное слово держит дело. — Он постучал пальцем по банке. — Отец так говорил.

Они обсудили подряд. Это заняло меньше часа: условия были выгодными, мистер Джетт их принял, не торгуясь, и подписал бумаги размашисто, с кляксой. Френк промокнул подпись, сложил листы в папку и поднялся.

— Сядьте, — сказал Джетт.

Френк сел.

Мистер Джетт долго смотрел на него. Потом достал из ящика бутылку виски, два стакана, налил — себе на два пальца, Френку на палец.

— Пейте. Не спорьте. Пейте.

Френк выпил. Виски обожгло горло, и вдруг он понял, что впервые за двое суток что-то проглотил.

— Вы не едите, — сказал Джетт. Не спросил. — Со вчерашнего дня. Да?

Френк поставил стакан.

— Откуда вы…

— У моего отца было такое же лицо, — сказал Амброуз Джетт. — Двадцать седьмого ноября шестьдесят шестого года. Я его хорошо запомнил. Я тогда тоже сидел за этим столом, а он стоял вон там, у окна, и смотрел на гору. И у него было лицо человека, который собрался купить то, что ему не по карману. Я такие лица потом видел сорок лет подряд. У игроков. У спекулянтов. У тех, кто закладывает дом, чтобы купить акции. Но у отца это лицо было первым. — Он налил себе ещё. — Он был кузнец, Салмон. Сайлас Джетт. Лучший кузнец в округе. Пятьдесят лет у наковальни, руки — как клещи. Не пил, не играл, в церковь ходил. Мы жили бедно, но честно. А в шестьдесят шестом осенью он перестал есть.

Френк молчал. В горле у него стоял ком.

— Он стал видеть сны, — продолжал Джетт. — Про ужин. Про стол. Про то, что его ждут. А двадцать девятого ноября — день в день, Салмон, двадцать девятого, — он взял табурет из кузницы, свой рабочий табурет, железный, который сам выковал, и ушёл. Средь бела дня. Я видел, как он шёл по Литейной, с табуретом на плече, и кричал ему из окна, а он не обернулся. Я побежал за ним. Догнал у парка. Схватил за руку. — Джетт посмотрел на свою широкую, обожжённую ладонь. — Знаете, что он сказал? «Отпусти, Амброуз. Я только загляну. Только посмотрю — и сразу назад. Обещаю». И улыбнулся. Он никогда так не улыбался. Как мальчишка, которому дали доллар на ярмарку.

— И вы отпустили.

— Я его отпустил, — сказал Джетт. — Мне было тридцать пять лет. Я был взрослый, глупый и очень уважал отца. Я подумал: он взрослый человек, он знает, что делает. Я отпустил его руку. — Он помолчал. — А через неделю мистер Оук пришёл ко мне в лавку и предло-

жил ссуду. Двенадцать тысяч долларов, под два процента, на двадцать лет. Чтобы построить фабрику. Я спросил: почему мне? Почему так дёшево? Он сказал: «В память о вашем отце. Он был хорошим человеком. Город ему многим обязан». Я тогда не понял, что это значит. Я взял деньги.

Он поднял банку с гвоздями и поставил её перед Френком.

— Это отцовские. Последние, которые он выковал. Холодное железо, без закалки, без огня. Он ковал их в ту последнюю неделю, по ночам, — я слышал, как стучит молот. Зачем — я не знал. Я нашёл их потом в кузнице, в ящике, и записку: «Амброузу. Для двери. Чтобы не закрылась». — Джетт усмехнулся невесело. — Тридцать лет я думал, что он сошёл с ума. А потом, двадцать седьмого ноября этого года, я увидел ваше лицо — нет, не ваше, лицо Генри Гэрлика, — и понял: не сошёл. Он знал. Он пытался.

Он открыл банку, достал один гвоздь — длинный, с квадратной шляпкой — и протянул Френку.

— Возьмите. Положите в карман. И не ходите туда, Салмон. Что бы вам ни снилось. Сколько бы окон там ни горело. Не спешите. Всё, что ваше, от вас не уйдёт. А то, что там, наверху, — это не ваше. Это ничьё. Это просто голод, который научился накрывать на стол.

* * *

Френк долго смотрел на гвоздь.

Потом рассмеялся. Смех вышел натянутым, сухим, и он сам услышал, как фальшиво он звучит, — но остановиться не мог.

— Мистер Джетт, — сказал он. — При всём уважении. Я клерк. Я считаю цифры. Я не верю в сказки. Ваш отец… Мне очень жаль, правда. Но люди исчезают. Это бывает. Уезжают, теряют память, тонут в реке. Это статистика. Каждый год в штате пропадает…

— Сколько? — перебил Джетт.

Френк осёкся.

— Вы же считаете, — сказал Джетт тихо. — Вы видели книгу. Я знаю, что видели. Оук всегда даёт её посмотреть тем, кого выбрал. Ему нравится, когда гость знает, что его ждут. Это как пригласительный билет. — Он наклонился вперёд. — Сколько там было, Салмон? В шестьдесят шестом? В тридцать девятом? Вы ведь посчитали. Не могли не посчитать.

Френк молчал. Он посчитал. Конечно, посчитал — машинально, ещё там, в кабинете, листая страницы назад. В шестьдесят шестом — двадцать три имени. В тридцать девятом — девятнадцать. И цены напротив них: ссуды, подряды, земельные участки, мосты, водопровод, библиотека. Весь Моунт Гарден, вся его удача, вся его «долина удачи» — всё это было записано в одном столбце, а напротив, в другом столбце, стояли имена.

— Это просто книга, — сказал он. Голос его не слушался. — Это… реестр. Страховой. Или благотворительный.

Мистер Джетт долго смотрел на него. Потом вздохнул — тяжело, как человек, который поднимал гирю и понял, что не поднимет.

— Ладно, — сказал он. — Ладно, сынок. Я сказал. Я сказал Гэрлику, я сказал Элоизе Эприкот — она смеялась, как вы сейчас, — и вот говорю вам. Больше я ничего не могу. — Он вдруг хлопнул ладонью по столу, и голос его стал прежним, громким, деловым: — А подряд хороший! Если вы и дальше будете так работать, Салмон, вы непременно станете партнёром Оука. Он ведь вас для этого и растил. Чтобы вы стали… — Джетт запнулся. — Чтобы вы были готовы.

Он встал. Разговор был окончен.

Френк тоже встал. Он не взял гвоздь. Гвоздь остался лежать на столе, на зелёном сукне, длинный, тёмный, кривоватый.

Но когда Френк уже был у двери, Джетт окликнул его:

— Салмон!

Френк обернулся. Джетт стоял у стола, держа гвоздь в кулаке.

— Лови.

И бросил. Френк поймал — машинально, как ловят брошенный мяч. Гвоздь был холодным, как сосулька.

— Не для тебя, — сказал Джетт. — Для жены. Отдай ей. Пусть носит. На всякий случай.

* * *

Френк вышел с фабрики в начале третьего. Небо затянуло, пошёл мелкий снег. На Литейной гудели трубы, грохотали подводы, ругались возчики. Мир был громким, грязным и настоящим. Френк стоял у ворот и смотрел на гвоздь у себя на ладони.

Отдай жене, сказал Джетт.

Только загляни, сказал кто-то ещё — ласково, тихо, у самого уха. *Только посмотри — и сразу назад. Ты ведь умный мальчик. Ты должен знать. Ты ведь не можешь не знать, правда? Ты же видел книгу. Ты же посчитал. Неужели тебе не хочется увидеть, что стоит по ту сторону счёта?*

Френк понял, что этот голос прав. Он не мог не знать. Это было сильнее голода. Голод можно было терпеть. А незнание — нет. Всю жизнь он проверял цифры. Всю жизнь находил ошибки, которые пропускали другие. И сейчас перед ним была самая большая ведомость, какую он когда-либо видел, — ведомость целого города, — и в ней не сходилось главное. Он должен был проверить. Должен был увидеть своими глазами.

Ни разу ему не пришло в голову, что любопытство бывает не только достоинством.

Он поехал домой.

Дома было пусто и тихо. Хелен в библиотеке, потом у доктора. Часы в гостиной пробили половину третьего. Френк снял пальто, повесил его на крючок. Потом снял шарф — красный, шерстяной, который Хелен связала ему прошлой зимой, — и машинально повесил на спинку венского стула. Как каждый день.

Стул под шарфом чуть-чуть, на волосок, качнулся.

Френк посмотрел на него. Простой стул. Гнутый бук, плетёное сиденье. Два доллара десять центов на Рыночной. На нём каждое утро сидела Хелен, застёгивая ботинки, и болтала ногами, как девочка, и смеялась, когда пуговка не лезла в петлю.

Он достал из кармана чёрную книжечку и положил её на подзеркальник. Рядом положил гвоздь Джетта. Для Хелен. Она найдёт, когда придёт. Он объяснит потом. Вечером. Когда вернётся.

Потом пошёл в чулан, взял моток бельевой верёвки, вернулся в прихожую и начал привязывать стул к себе на спину — так, чтобы нести, как рюкзак. Пальцы работали ловко и аккуратно, как всегда. Узел, ещё узел, проверить, затянуть. Нелепость этой затеи его ничуть не смущала. Его вообще ничто не смущало. Внутри было пусто, тихо и чисто, как в доме, где накрыт стол и всё готово к приезду гостей.

Загляну за дверь, думал он, *а на обратном пути заберу Хелен из библиотеки. То-то она рассмеётся, когда увидит меня со стулом на спине.*

Он посмотрел в зеркало. Из зеркала на него смотрел высокий худой человек в сюртуке, с пенсне на шнурке и с венским стулом за плечами. Человек улыбался. Широко, по-мальчишески. Как мальчишка, которому дали доллар на ярмарку.

Френк не узнал эту улыбку. Он видел её впервые.

Он надел пальто поверх стула — получилось горбато и смешно — и вышел из дома. Дверь он закрыл на ключ. Ключ положил под коврик, как делал всегда, когда уходил раньше Хелен.

Часы в гостиной пробили три. В этот самый момент Хелен, в другом конце города, вошла в кабинет доктора Мортимера Крэйна, и доктор Крэйн, высокий, длинношеий, похожий на журавля, поднялся ей навстречу и сказал:

— Миссис Салмон! Как я рад. Садитесь, садитесь. Я вас очень ждал.

Глава восьмая. Башня из стульев

Кондуктор конки, ирландец по фамилии Галлахер, потом рассказывал инспектору Хадсону, что запомнил этого пассажира, потому что тот ехал со стулом на спине и всю дорогу улыбался.

— Не по-хорошему улыбался, инспектор, — говорил Галлахер, мусоля в пальцах кепку. — Я на линии двенадцать лет, всяких видел. Пьяных, полоумных, влюблённых. А этот улыбался так, будто ему сейчас подарят лошадь. Причём чужую. Я ещё подумал: эге, парень, тебе бы к доктору. А потом он сошёл у парка, и я про него забыл. Только вот вечером, когда сдавал выручку, вспомнил, что он заплатил мне два цента, а не один. За себя и за стул. Сказал: «Он тоже пассажир». И засмеялся.

Хадсон записал это в свою книжку. Мелко, на полях. Потом долго смотрел на запись.

* * *

У ворот парка Френк остановился, чтобы перевести дух, и цветочница увидела его.

Она перестала петь на середине строчки — на «пей водицу», — и песенка оборвалась, как перерезанная нитка. Старуха смотрела на него снизу вверх, на его лицо, на улыбку, на горб под пальто, где угадывались очертания стула. Глаза у неё были мокрыми, но, может быть, это от ветра.

Френк хотел что-то ей сказать — пошутить, может быть, или поздороваться, — но не нашёл слов. Он прошёл мимо.

За спиной он услышал, как старуха что-то шепчет. Обернулся. Она сидела, сгорбившись, и медленно, неумело, как человек, давно забывший, как это делается, крестилась. Сначала лоб. Потом живот. Потом левое плечо, правое. Потом снова лоб — будто сбилась. Потом она подняла руку и перекрестила его — Френка — в спину, мелко и быстро, как крестят детей, уходящих на войну.

И тут Френк вспомнил газетные заметки.

Мистер Гэрлик и его венецианский стул. Миссис Эприкот и её кресло барокко. Тётя Нэнси и её вышитая скамеечка. Сайлас Джетт и его кованый табурет. Нелли Хадсон, пятнадцать лет, плетёное креслице. А теперь он, Френк Салмон, идёт на гору со стулом на спине, и никто, ни одна живая душа, не знает, куда он пошёл.

Холодок пробежал у него по спине — прямо под ножками стула.

Вернись, сказал кто-то у него в голове. Голос был слабым, далёким и очень знакомым. Голос матери. *Френки. Никогда не садись за чужой стол.*

Я не сяду, ответил он ей. *Я только посмотрю. Я только проверю цифры. Загляну — и сразу назад.*

Так говорит каждый, кто идёт туда, куда ходить не стоит. Так говорил Сайлас Джетт, улыбаясь сыну. Так, наверное, говорил Генри Гэрлик, босиком уходя в снег. Френк был умным человеком. Он знал это. Он знал, что говорит те же слова, что и все до него, и что эти слова ничего не стоят, ни цента, — и всё равно шёл. Потому что знание — это одно. А голод — совсем другое.

* * *

Через двадцать минут он снова стоял перед терновником.

Шляпка с восковыми вишнями по-прежнему висела на шипе. Снега на ней стало больше. Обрывки ткани колыхались, хотя ветра не было. Морозный воздух вырывался изо рта облачками пара.

Френк шагнул вперёд.

И терновник расступился.

Не сразу, не резко, а медленно, с тихим шорохом, похожим на шелест юбок. Ветви, толщиной в руку, гибкие, как змеи, отводились в стороны — одна, другая, третья, — открывая узкий проход. Шипы втягивались, как когти у кошки. Ягоды на ветках поворачивались вслед за Френком — он мог бы поклясться, что видел это, — как поворачиваются головы слуг, выстроившихся в два ряда, когда в дом входит долгожданный гость.

Видно, в прошлый раз я просто искал не там, подумал Френк. Разумная мысль. Удобная. Он ухватился за неё, как за перила.

Проход вёл вглубь зарослей, петляя, сужаясь, расширяясь. Френк шёл по нему, и ветви смыкались у него за спиной — он слышал этот шорох, но не оборачивался. Под ногами было не снег, а что-то мягкое, пружинящее. Палые листья, подумал он. Или мох. Он не смотрел вниз. Он смотрел вперёд.

Один раз, на повороте, его нога наткнулась на что-то твёрдое, и он всё-таки посмотрел.

Это была подошва. Старый мужской башмак с медными гвоздиками, какие носили лет тридцать назад. Башмак торчал из-под корней терновника носком вверх, и корни оплели его плотно, как пальцы. Из башмака, из-под истлевшей кожи, торчало что-то белое и тонкое, похожее на сухую ветку.

Френк перешагнул через него и пошёл дальше. Он не остановился. Он даже не ускорил шаг. Внутри у него было тихо и пусто, как в соборе.

* * *

Терновник кончился внезапно. Френк вышел на маленькую поляну, ровную, белую, круглую, как тарелка, и увидел перед собой дорогу. Широкую, мощёную, без единой снежинки, будто её только что подмели. Дорога вела прямо к замку.

Он надел пенсне и взглянул на часы. Без четверти четыре. *Пятнадцать минут на замок, час до библиотеки,* прикинул он. *Успею.*

Френк всегда всё успевал.

Ступени были такими высокими, что на каждую приходилось забираться, как на стол, — сначала колено, потом руки, потом подтянуться. Камень был белым, гладким, тёплым на ощупь, хотя вокруг лежал снег. Стул на спине мешал, цеплялся ножками, бил по затылку. Френк лез, тяжело дыша. Семь ступеней. Он посчитал.

Наверху он обернулся.

Внизу лежал весь Моунт Гарден. Дымовые трубы, колокольни, крыши, белые от снега. Парк с замёрзшим озером, крохотные точки конькобежцев. Фабрика Джетта с её двумя трубами. Мраморная лестница библиотеки, где через час будет ждать Хелен. И — Френку даже показалось, что он различает, — зелёная крыша его дома с жестяным шпилем.

Отсюда дом казался крошечным, как спичечный коробок. Как игрушка. Как то, что можно взять двумя пальцами и положить в карман.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.